

# ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ ВОЙНЫ

Андрей Горных<sup>1</sup>

## Abstract

The phenomenon of information warfare can be better understood in a broader historical perspective and political-economical context. The collapse of the original democratic institutions and the 'ascent of money' in the 16–17 centuries gave birth to an arms race. The latter supports a stable demand for money on a political level. Capital and war make up a circle in which they engender each other.

Transference of the new value of money from a political-economic level of macro-cycles of capital accumulation to the micro-level of individual desires is made by an apparatus of advertising. The combination of advertising, capital and war generates the phenomenon of information warfare.

The largest enclaves of production of capital have been sources of global exports of the war from the outset. This causes the dismantling of political structures of direct democracy in the urban communities. Over time, the war returns from inside of western cities, militarizing the relationship between authorities and population. The very power becomes a depoliticized permanent special operation against the enemy who can hardly be determined as external or internal.

**Keywords:** information warfare, capital, advertising, depoliticization, social order and military array.

Война перестала быть продолжением политики иными средствами. Современная война, по мысли Бодрийара, это продолжение отсутствия политики иными средствами. Если дело в отсутствии политики, то в каком смысле война делает это отсутствие неприглядно видимым? Иными словами, не является ли современная война – информационная, гибридная и т.п. – не просто эффектом усиления в ней роли пропаганды в эпоху массмедиа, но продуктом глубинных трансформаций социальной структуры войны?

## Постполитика: бюрократическая ротация

Отсутствие политики прежде всего проявляется в сворачивании стратегического планирования. Политический истеблишмент развитых стран консолидируются в бюрократический класс, основной целью которого становится

<sup>1</sup> Андрей Горных – доктор философских наук, профессор Европейского гуманитарного университета (Вильнюс, Литва).

собственное воспроизводство. Бюрократы заботят тактические достижения, которыми можно отчитаться за свой срок полномочий. Или вообще поддержание на плаву существующего порядка, что обеспечило бы по истечении срока полномочий пересаживание в другое бюрократическое кресло. Для этой бесконечной внутренней бюрократической ротации не важны более отдаленные эффекты и конечные следствия управленческой активности. Здесь действует механизм обнуления ответственности. Если в стратегической перспективе эти следствия оказываются негативными и, по сути, перечеркивают тактические «успехи», то их всегда можно списать на неадаптивность прошлой администрации, члены которой уже успели занять не менее теплые места, возможно, тех же самых людей, которые сейчас занимают их место. И с которыми им, возможно, еще предстоит поменяться местами, чтобы с «чистого листа» начать преследование новых тактических целей. Бюрократическая ротация де-факто подрывает демократический принцип сменяемости властей.

Вспомним только самые крупные международные политические события, приведшие к военным действиям: Ирак, Югославия, Афганистан, Ливия, Сирия. Решение одной проблемы привело к появлению ряда новых, часто еще более опасных и непредсказуемых угроз. Проблемы по имени «Саддам», «Милошевич» или «бен Ладен» были решены одними администрациями, записавшими это в свой актив, чтобы превратиться в безличное поле очагов напряженности, с которыми с «чистого листа» приходится иметь дело другим администрациям. Поле, выходящее далеко за локальные границы прежних проблем, находящееся вне любых зон западной легитимности и с легкостью пересекающее государственные границы и периметры безопасности (Аль-Каида, ИГИЛ и т.п.).

США, к которым отсылают эти примеры, конечно, всегда на виду. И, похоже, прежние политические элиты уже начали там платить по счетам – поражением от внесистемного, «неполитического» Трампа – за свою самодостаточную бюрократическую ротацию. Но не является ли, например, и современная Россия, которая кажется антиподом США, примером, более примитивным, той же самой тактической постполитики? Начиная с чеченских кампаний, стратегические цели которых постоянно исчезали в тумане, и кончая путинской эпохой, когда тактические «успехи» – типа победоносной олимпиады или аннексии Крыма – служили чем-то вроде ярких цветных пятен, заслоняющих на время серый фон экономической стагнации и геополитических метаний (Китай, Турция), но в перспективе делающих этот фон еще более мрачным.

В любом случае фактический уход современного политического истеблишмента из зоны ответственности за долговременные – собственно политические – эффекты своего «эффективного менеджмента» и превращение политики в механизм самовоспроизводства бюрократического класса порождают образ «странной» войны. Войны, в которой окончательный результат – будь то за-

хват территорий, ресурсов или уничтожение противника – не то чтобы не просматривается, но, по сути, никому не нужен. Ибо его отсутствие позволяет разворачивать вокруг зоны напряженности бесконечные тактики локального вмешательства и поддерживать видимость политических усилий при минимуме рисков для бюрократии.

Что особенно наглядно проявляется в случае с Украиной. То, что уже два года происходит в Украине, ни западный истеблишмент, ни власти непосредственно вовлеченных в конфликт Украины и России не называют войной. Происходящее описывается в терминах вооруженного конфликта (межгосударственного или внутригосударственного), вмешательства во внутренние дела, антитеррористической операции и т.п. В чем сходятся стороны, так это в том, что идет беспрецедентная «информационная война». Все выглядит так, как если бы настоящая война – кровавая, вооруженная, систематическая борьба двух сторон – уходила в тень пропаганды. В отличие от обычной военной пропаганды, в режим которой переводятся массмедиа воюющих государств, или информационно-психологического противоборства (*information and psychological warfare*) времен холодной войны современная информационная война не сопровождает и не обслуживает «настоящую» войну, усиливая выгодные для одной из сторон черты и затушевывая невыгодные. Она начинает использовать и систематически эксплуатировать первую, режиссировать реальные события.

Что в этом случае остается различным аналитикам, кроме как превращать в морализаторский штамп бодрийаровский концепт симулякра, бесконечно сокрушаясь о посмодернистском приоритете медиакартинки над реальными событиями? Существует ли способ разорвать данный дискурсивный круг «двух войн» – настоящей и фейковой, но по какой-то прихоти истории еще более действительной сегодня? Существуют ли более глубокие, нежели бюрократическая ротация, истоки «странных войн» XXI века?

### Война и капитал

Для продуктивного поиска ответов на эти вопросы необходима основательная историзация проблемы. Фернан Бродель предлагает нам хорошую опорную точку для подобной историзации. В своем фундаментальном 3-томном труде «Материальная цивилизация, экономика, капитализм, XV–XVIII вв.», посвященном развитию капитализма, французский историк рассматривает в качестве переломного момента в европейской истории – рождения капитализма как социальной системы – союз денег и войны. Многочисленные элементы капитализма – торговля, рынок, ценные бумаги, кредит – существовали, по мысли Броделя, еще со средневековья. Но для того, чтобы эти элементы полноценно развились и сложились в общую картину, потребовалось строительство в XVI – XVIII вв. «верхнего этажа» новой экономики. На этом «верхнем этаже» на-

ходятся крупные банковские дома. С одной стороны, они контролируют наиболее прибыльную заморскую торговлю. С другой – вкладывают прибыли в милитаризацию экономики. Последнее позволяет решить две взаимосвязанные задачи.

Во-первых, получать стабильную сверхприбыль путем выстраивания военной машины колонизации, финансирования новых военных технологий для обеспечения монопольного права торговли в том или ином регионе. Так, например, «артиллерийская революция» XV – XVI веков обеспечила европейцам мировое доминирование на море. И, по сути, превратила торговый корабль в нечто среднее между боевым судном, участвующем при необходимости в военных действиях, пиратским кораблем, перехватывающим менее вооруженных собратьев, и колониально-этнографической экспедицией, осваивающей природные и человеческие ресурсы заморских территорий. В зависимости от нормы прибыли в конкретных обстоятельствах на первый план выступала та или другая функция. Торговый корабль XVI – XVIII веков был образцовым капиталистическим предприятием, «всеядным торговцем».

Во-вторых, находить достойное применение свободным деньгам, концентрация которых, благодаря сверхприбылям (до 3000%), достигает беспрецедентных в истории масштабов. По приводимым Броделем словам министра внутренних дел Франции Ролана де ла Платьера, характеризующим капиталистический мегаполис в 1791: «Париж – это всего лишь продавцы денег..., спекулирующие на общественном несчастье»<sup>2</sup>. Неурожаи, эпидемии, стихийные бедствия – все то, что создает резкую нехватку в каком-либо месте (и относительный избыток в других местах), – во все эти зоны немедленно устремляется капитал. И главным «общественным несчастьем», создающим наибольшие «ножницы цен» и возможность их монополизации, безусловно, выступает война. И дело даже не в том, что военные поставки сравнимы по прибыльности с заморской торговлей. Капитал не воинственен и не мирен сам по себе – он автоматически перетекает в области пониженного экономического «давления», какой бы характер они ни носили. Дело в том, что в условиях военно-политического соперничества в Европе появляется новый тип заемщика денег: государство. Ибо со времен столетней войны Франции и Англии (XIV–XV вв.) европейская война постепенно становится войной технологий и регулярных армий. Не войной нескольких тысяч рыцарей, но войной тысяч тонн железа, пороха, древесины и пр. Соответственно, главным товаром, нужда в котором становится самой острой, оказываются свободные деньги.

Государь может использовать человеческие ресурсы своих подданных, распоряжаться государственной казной. Но в условиях примерного равенства сил главным стратегическим резервом становятся внешние деньги банков. Побеждает тот, кто сможет к своим

<sup>2</sup> Ф. Бродель: *Материальная цивилизация, экономика, капитализм, XV–XVIII вв.*, Т. 2. Игры обмена, Москва: Прогресс 1988, 100.

согражданам добавить определенный процент наемников – пусть незначительный, но способный обеспечить решающий перевес. Тот, кто обеспечит себе пусть небольшое, но превосходство в количестве пушек и ружей, в их дальнбойности, точности и т.п. Так возникает уникальный феномен «гонки вооружений»: «Всемирная история 1500–1900 гг. подтверждает уникальность Европы в этой сфере, а продолжающаяся поныне гонка вооружений обязана своим рождением активному взаимодействию европейских государств и частных предпринимателей в военных делах еще в XIV в.»<sup>3</sup>.

Одним их самых известных эпизодов столетней войны был легендарный «бой тридцати» (1351) – бой-поединок в котором с английской и французской стороны по договоренности сошлись ровно по тридцать воинов. Этот рыцарский бой представлял квинтэссенцию средневековой войны – противоборства личных качеств воинов в общих рамках этикета учтивости. В конце столетней войны в 1440-1450-х многочисленные гарнизоны хорошо укрепленных крепостей будут сдаваться без единого выстрела при одном только виде количества разворачивающихся у стен новых артиллерийских батарей. Пробивная сила новых типов пушек позволяла сравнять крепость с землей за несколько суток. И отношение к сражающимся со стороны наемников армий нового типа было свободно от каких-либо рыцарских условностей.

Эта новая война сводит государство и капитал. За завоеванием английским королем Эдуардом I Уэльса стоят деньги семьи Риккарди. Банковские монстры того времени флорентийские Дома Перуцци и Барди финансировали Столетнюю войну (причем обе стороны). Долги французской и английской корон перед флорентийскими банкирами достигали фантастической суммы, превышавшей государственные бюджеты (более 1 миллиона флоринов)<sup>4</sup>.

И пусть «первенцы» союза войны и капитала оказались нежизнеспособны – обе короны, в конце концов, отказались платить флорентийцам по совершенно неподъемным счетам (таким, что, по словам современников, падение Барди и Перуцци для республики было страшнее всех войн вместе взятых). Но возникший союз войны и капитала отныне становится все более прочным. Государство – идеальный заемщик для крупнейших банков. Им востребуются огромные денежные ресурсы, которые сосредоточиваются в руках ведущих банков. В условиях военного кризиса – а состояние войны или предуготовлений к ней занимает большую часть европейской новой истории – деньги становятся главным товаром, и банк – монополистом в определении их цены. А государство в таких вопросах за ценой не постоит. Тем более, что своенравные феодальные правители, которые попросту могут отказаться платить по счетам, сменяются более ответственными перед высшей

<sup>3</sup> У. Мак-Нил: *В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках*, М.: Издательский дом «Территория будущего» 2008, 100.

<sup>4</sup> Бродель, указ.соч., 390.

буржуазией правительствами, которые отвечают перед кредиторами государственными активами и налогами, минимизируя их риски.

Одним словом: «С прогрессом артиллерии, арсеналов, военных флотов, постоянных армий, фортификационного искусства расходы современных государств стремительно возрастали. Война – это означало деньги и еще раз деньги»<sup>5</sup>.

Но в не меньшей мере, чем война нуждалась в деньгах, деньги нуждались в войне. Очевидно, что обладая все более совершенной военной машиной, государство не только создает все более масштабные «общественные несчастья», но и способствует созданию самой капиталоемкой вплоть до второй половины XX века сферы экономики – промышленности, а также с помощью военной гегемонии обеспечивает сверхприбыли западного капитала в мировой торговле. Но речь идет не просто об историческом партнерстве капитала и войны, необходимом или выгодном на определенном этапе (образования национальных государств, колонизации или индустриализации), но не относящимся к сущности феноменов самих по себе. Основываясь на базовых принципах понимания капитализма Броделем, итальянский экономист и социолог Джованни Арриги заостряет внимание именно на диалектике капитала и войны как ключевом факторе для эволюции современных войн и для развития самого капитализма.

Сквозь эту призму прочитывается классическая формула капитала Маркса – Д-Т-Д'<sup>6</sup>. Данная формула отражает, для Арриги, не только логику индивидуальных капиталистических инвестиций, но историческую закономерность капитализма как такового. А именно – повторение «системного цикла накопления». Формула капитала здесь предстает как выражение двух фаз этого цикла.

Первая фаза Д-Т (Деньги-Товар) описывает «материальную экспансию» денег. В ходе этой фазы аккумулированные в ходе первичного накопления свободные денежные средства систематически инвестируются в самые прибыльные на тот момент товары.

Так, на первом, итальянском цикле «системного накопления» венецианские успехи в торговле в XIII–XIV веке (или «гнусности системы грабежа») порождают торговый флот и приводят в движение огромные цепи торговли на дальние расстояния. На третьем, британском цикле огораживание в Англии в XV–XVI веках приводит к появлению той массы свободных денег, которые находят свой специфический товар – рабочую силу – и запускают гигантский маховик индустриализации. В общем история капитализма на момент конца XX века предстает в виде четырех повторов цикла «системного накопления» – в итальянских городах-государствах Возрождения XV–XVI вв., в голландских биржевых центрах XVII–

<sup>5</sup> Там же, 554.

<sup>6</sup> См.: Д. Арриги: *Долгий двадцатый век: Деньги, власть и истоки нашего времени*, М.: Издательский дом «Территория будущего» 2006.

XVIII вв., в английской индустрии XIX века и американской промышленности XX века.

Во второй фазе Т–Д' (Товар–Деньги с прибылью) происходит «финансовая экспансия» – увеличившийся капитал освобождается от своей товарной формы и перетекает в область финансовых спекуляций. Голландские купцы в XVIII веке выходят из торговли и становятся банкирами и финансистами. Американский бизнес в 1970–1980-х уходит из «фордистско-кейнсианского» мира производства в глобальное пространство децентрализованных финансовых потоков «деорганизованного капитализма».

По сути, меняется масштаб и скорость цикла системного накопления – от III–IV веков итальянских городов-государств до нескольких десятилетий «американского века», – но логика остается той же самой. Фаза финансовой экспансии знаменует апогей могущества и одновременно является признаком «надвигающейся осени» (Бродель). Признаком исчерпания исторического импульса в данном анклав капитализма и возникновения следующего очага капитализма, который повторит этот цикл в большем масштабе и темпе. Самой существенной чертой этой логики для Арриги является переход количества аккумулированных денег в их новое милитаристское качество.

Итальянские купцы, например, изначально были плотно связаны с производством. Но по мере успешного закачивания денег в производство и торговлю одним товаром растет имущественное и классовое расслоение внутри города и между соседними городами, растет конкуренция и падают прибыли. На фоне падающей прибыли все больше сил требуется для погашения разнообразных конфликтов изнутри и извне города.

«Нулевой точкой» в развитии капитализма Арриги называет вспышку «межкапиталистической конкуренции». Североитальянский капиталистический анклав буквально раздирается конфликтами между небольшими городами-государствами. Генуя на рубеже XIV – XV веков находится в войне с Венецией более 40 лет. Во Флоренции около века ведется напряженная внутригородская классовая борьба и войны с соседями. В результате первые анклавы капитализма достигают «просто ошеломительных военных расходов» – «именно в таком контексте на свет появился капитализм как социальная система»<sup>7</sup>.

Капитализм – это убийство «двух зайцев» (роста силового противостояния и падения доходов) одним выстрелом коммерциализации войны. В силу того, что в Европе существует относительное равенство между различными политическими силами (империя Габсбургов и республиканская Голландия, католические и протестантские государства и т. д.), которые не могут достичь решающего военного превосходства над остальными, возникает ситуация, благоприятная для того, чтобы деньги, выведенные из материальных

---

<sup>7</sup> Там же, 141.

форм и не находящие эффективного применения на местах – или «мобильный капитал» – стали пользоваться увеличивающимся спросом. Постоянно возрастающая конкуренция за мобильный капитал со стороны нескольких равносильных противоборствующих военно-политических сил и превратила капитализм в социальную систему. Отныне возникает устойчивый, прибыльный спрос на товар, которым становятся сами деньги.

И фаза материальной экспансии раннего итальянского капитализма завершается. С поддержки производства, увеличения торгового флота и обустройства новых торговых площадок итальянские купцы переключаются на финансовые операции: «Так как конкуренция снижала доходы от капитала в торговле и производстве, а силовая борьба обеспечивала прибыль в сфере высоких финансов, они [капиталисты] начали переводить избыток наличности из первой в область инвестиций в войну: с начала 14 века – постепенно, в середине 14 века – лихорадочно»<sup>8</sup>. Отныне можно избежать превратностей коммерческой судьбы – кораблекрушений, пиратов, коварства заморских правителей. Набирающее силу Государство через механизмы государственного долга становится самым привлекательным инвестиционным полем для капитала, достигшего требуемой степени концентрации и мобильности<sup>9</sup>.

Другой стороной коммерциализации войны является экспорт войны. То есть вынесение войны за пределы ведущих капиталистических анклавов и превращение их в спокойные финансовые гавани (сначала Италия, потом Голландия, Англия, США). Хорошая инвестиция – это инвестиция в чужую войну, войну на чужой территории. И чужими руками: в Европе возникают первые регулярные части наемников, налогообложение позволяет буржуа откупаться от военной службы и нанимать все большее количество все более профессиональных, а значит дорогих солдат<sup>10</sup>.

Так складывается круг войны и денег. Все более сложные и дорогостоящие методы ведения войны на европейском театре военных действий приводят к появлению военной техники, которая затем используется для покорения территорий за его пределами. Ренессансная торговля на дальние расстояния достраивается до колониальной системы. Богатство, источником которого становится последняя, конвертируется в мобильный капитал, служащий для эскалации борьбы внутри Европы на новом витке и т.д. Деньги порождают военную силу, а та – новые деньги<sup>11</sup>. На высшем этаже

<sup>8</sup> Там же, 153.

<sup>9</sup> «С 1760-х гг. все государства являлись к кассовым окошкам голландских кредиторов – император, курфюрст Саксонский, курфюрст Баварский, настойчивый король Датский, король Шведский, Россия Екатерины II, король Французский» (Там же, 200).

<sup>10</sup> Только в 1550–1640 годах число солдат в Европе вырастает в 2 раза, а стоимость подготовки – в 5 раз (Там же, 85).

<sup>11</sup> В 1783 правительство Британии исправно тратит гигантскую сумму в 9 миллионов фунтов только на обслуживание долгов, поглотивших не менее 75 % ее бюджета (в отличие от Эдуарда III, отказавшегося пла-



той экономики, которая уже является капиталистической в полном смысле слова, деньги инвестируются в расширенное политическое воспроизводство самой потребности в деньгах.

## Город и война

Но разве не всегда война являлась высшей формой политики? И разве не всегда интересы войны подстегивали развитие материальной цивилизации, которая делала те или иные народы более победоносными?

Если мы говорим об истоке европейской цивилизации, который по мере того, как капитализм принимает зрелые формы, стирается и вытесняется, то мы находим там краеугольный принцип, не дающий войне и деньгам замкнуться в круг капитала. На пути неограниченной коммерциализации войны и гонки вооружений стоит демократия.

Начало европейской городской цивилизации – от античного «полиса» до средневековой «коммуны» – это союз граждан, подчиненных общему для всех них закону. Равенство перед законом – вне зависимости от происхождения, богатства, веры – основополагающая отличительная черта европейской городской цивилизации. Но что это за Закон? То есть не конкретные законы, принимаемые демократически избранными законодательными собраниями, варьирующиеся от территории к территории и корректируемые с течением времени. Но неизменный принцип, в отношении которого учреждается взаимно признаваемое, «естественное» равенство горожан, новый режим легитимности.

Для ответа на этот вопрос Макс Вебер ставит предварительный вопрос об источнике этого нового Закона. И его ответ недвусмыслен – узурпация. Коллективная узурпация права Господина на суверенную личную власть – вот источник цивилизованного Закона.

Вспышки рождения «новых звезд» – городов – на небосклоне всемирной истории связаны с актами конъюрации (*conjuratio* – совместная клятва), с образованием добровольных «клятвенных союзов» горожан, объединяющихся в качестве военной силы против феодальных суверенов. Это происходит прежде всего в колыбели капитализма Италии, где «в подавляющем большинстве случаев городское устройство возникло исконно посредством *conjuratio*»<sup>12</sup>. Так, например, еще в 980 году жители Милана, способные носить оружие заключают военный союз против епископа, узурпируя его власть.

---

тить Барди). К 1815 на ежегодное обслуживание растущего госдолга уходит уже 30 миллионов фунтов (Там же, 219). Госдолг позволял сделать рывок в промышленности, тот – в военном потенциале, который с лихвой возвращает затраченные деньги через господство на море и в колониях.

<sup>12</sup> М. Вебер: *Избранное. Образ общества*, М.: Юрист 1994, 343.

Вебер описывает средневековый город как союз, братство с соответствующим религиозным символом, как «культ городского союза бюргеров как такового»<sup>13</sup>. Завершающим трагическим цветением этой идеи самообожествления гражданской общины можно считать Культ Верховного Существа времен Великой французской революции. Верховное Существо – это Разум как просвещенное сознание гражданской общности. Культ Верховного Существа – это гражданская религия, в которой вместо сакрализации замкнутости родов и каст, основы нецивилизованной, «сельской» религиозности – обожествляется гражданское единство поверх любых традиционных границ между людьми. Но попытка распространить эту городскую религиозность за пределы городских стен, за пределы небольших городских анклавов обернулась робеспьеровской кровавой утопией.

Община античного полиса еще содержит остаточные перегородки кланового характера и выступает в виде конфедерации личных союзов, носящих следы родового происхождения. Основное структурное подразделение полиса «фила» еще обозначает «племя» и лишь постепенно трансформируется в административно-территориальную единицу (городской «район») вне привязок к крови и почве. Соответственно стирается родовое происхождение составляющих филы фратрий (кланов племени, «улиц», «кварталов»), и они превращаются в военные союзы, что-то вроде территориальных подразделений гражданской обороны, с предписанным участком обороны городской стены или позицией в общегородской фаланге.

Средневековый город – это военное братство без каких-либо традиционных внутренних границ, «универсальная фратрия». Ибо Господину с его рыцарским военным аппаратом, постоянно угрожающим восстановлением права личной власти над подданными, граждане могут противопоставить только милитаризованное единство, строй, дисциплину. И безусловную готовность пожертвовать свою жизнь за свободу ближнего. Так свобода другого становится условием моей собственной свободы. Так воздух городов делает человека свободным.

Исток нового Закона – не просто общая воля сограждан, превращающая народ в цивилизованного «суверена», но равенство перед смертью за гражданскую свободу. С этим связана своеобразная политическая метафизика: горожанин пребывает параллельно в двух постоянно чередующихся мирах – мира и войны. В экономической повседневности он преследует свой частный интерес как лавочник, ремесленник или купец, принадлежит к более или менее крупному профессиональному цеху, выделяется богатством или нищетой. В военное же время он становится гражданином в подлинном смысле этого слова – общее дело выдвигается на первый план, равенство и братство перестают быть абстрактными идеалами и становятся непосредственно переживаемым опытом.

<sup>13</sup> Там же, 333.

Фильм Вадима Абдрашитова «Парад планет» (1984) может служить гротескной, но все же поучительной иллюстрацией этого опыта. На очередные военные сборы призываются самые разные горожане – астроном и продавец, архитектор и рабочий, грузчик и народный депутат. Они образуют артиллерийский расчет, новое сообщество, в котором меняются статусы, перераспределяются роли и начинается другая жизнь. Изнутри групповой общности мир для каждого предстает магически преломленным: отношения с женщинами, с собственным прошлым, с самими небесами начинают разворачиваться в параллельной реальности военного маскарада, «парада». И герои медлят с возвращением из этого мира к обычному городскому индивидуализму, в котором эта магия – пусть странная и порой дискомфортная – будет утрачена. Для обитателя же раннего европейского города курсирование между реализмом хозяйственной и семейной жизни и военно-политическими коллективными фантазмами определяло сам строй городской жизни, ее особую религиозную атмосферу.

Как отмечает Вебер, участие в военном союзе горожан зачастую не только было пропуском в политическую жизнь, но и на верхние этажи экономической жизни. Как, например, в Генуе – пропуском к кредитной деятельности и участию в торговле на дальние расстояния (профессиональному курсированию между своим и иным миром).

В военно-политическом плане переломным моментом в позднесредневековой жизни европейской гражданской общины стало рождение швейцарской пехоты.

### **Швейцарская пехота**

15 ноября 1315 года армия под командованием герцога Леопольда, насчитывающая до 10 тысяч человек, включая 2000 тяжелооруженных рыцарей, двинулась по перевалу Моргартен на непокорных жителей горного кантона Швиц, которые заключили своеобразную конъюрацию, военно-политический союз с соседними кантонами и по сути узурпировали власть дома Габсбургов на своей территории. Далее произошло то, что классик военной истории Ханс Дельбрюк называет «всемирно-историческим делом».

На армию, мощи которой хватило бы не то что на усмирение нескольких поселений, но на межгосударственную битву, с гор сомкнутыми колоннами обрушились обычные жители кантона, ведомые в бой местным амманом (сельским старостой) Штауффахером. Рыцари, в обычном бою без труда справлявшиеся с несколькими непрофессиональными пехотинцами, были отрезаны от своей пехоты и почти поголовно вырезаны горцами, атаковавшими их с такой яростью и напором, что многие предпочли, спасаясь, утонуть в ближайшем озере. Ополченцев оказалось от тысячи до трех. Потери среди них были минимальны.

«Всемирно-историческое» значение этого не самого масштабного сражения в истории Европы Дельбрюк обосновывает даже не тем, что впервые абсолютно доминировавшие до сих пор конные рыцари были повержены пехотинцами из народного ополчения, к тому же в такой невиданной пропорции. Причины, по которым это произошло, он усматривает в том, что: «Авторитет, с которым крестьянин Штауффахер командовал гражданами Швица при Моргартене, имел корни... [в том, что он] политически и экономически выводит силу своих военных приказов из единства совместного существования, во главе которого он стоит. ...Потому, что боевые качества отдельных воинов слиты в мощное единство с единой волей; потому, что командование было в руках демократии, – народ мог одержать верх над рыцарством»<sup>14</sup>.

Швиц в XIV веке – это «марка», «марковая община»: соседская община, объединяющая несколько поселений вокруг общих пастбищ и лесов при семейной собственности на пахотную землю. 18000 душ, 4000 мужчин, более половины из которых за несколько часов могли быть мобилизованы в ополчение. То есть по сути гражданская, квазигородская организация (с естественными «стенами» гор), в которой были еще более сильны общинные, воинственные германские традиции племен охотников и скотоводов. Ключевые вопросы решались на общем собрании всех жителей, политическая организация совпадала с военной. Староста, руководивший хозяйственной жизнью, становился командиром в ополчении, сформированном по территориальному принципу. В результате: «Марковая община оказывается объединением настолько прочным, [так как] ... скрепляла, спаивала в одно общее самые различные социальные элементы»<sup>15</sup>.

Марка в одном отношении отстает от города, она укоренена в традиционной культуре с неразвитостью ремесел и городской инфраструктуры. В другом – обладает институтами прямой демократии, помноженными на солидарность, равенство и храбрость всех жителей. Эта особая социальная структура объединяется с крупными городами других кантонов, которые формулируют политическую программу и обеспечивают стабильное снабжение совместного ополчения. Так рождается швейцарская пехота, которая становится новой военно-политической силой. Силой, которая в результате ряда победоносных битв с бывшими феодальными хозяевами быстро оформляется в швейцарскую конфедерацию – демократический союз самоуправляющихся кантонов.

Что делает швейцарцев такой грозной военной силой, которая порождает еще в XIV веке по сути первое демократическое европейское государство Нового времени? Прежде всего, это уже упоминаемое единство совместного существования. Переплетенность

<sup>14</sup> Г. Дельбрюк: *История военного искусства в рамках политической истории: в 4 томах*. СПб.: Наука 2001, 3112. Режим доступа: [http://militera.lib.ru/science/0/pdf/delbruck\\_h01.pdf](http://militera.lib.ru/science/0/pdf/delbruck_h01.pdf). Дата доступа 29.1.2017.

<sup>15</sup> Там же, 3092.

экономической, политической и военной жизни взрослого мужского населения. Начиная с того, что люди, бок о бок жившие и трудившиеся в поколениях, сообща решавшие свои повседневные проблемы, так же бок о бок становятся в боевой строй. Малейшие проявления трусости или храбрости видны как на ладони? и память о них надолго определяет репутацию твоей фамилии у соседей. Если у швейцарских конфедератов и был страх на войне – то это был страх бесчестья в глазах сограждан. Степень взаимопонимания и выручки у такой пехоты качественно выше, чем у амбициозных одиночек рыцарей. Швейцарская пехота – это прежде всего строй.

Строй пикинеров – воинов, вооруженных длинными пиками – способный защитить пешего воина от всадника. Боевой порядок пикинеров – это несколько «баталий», квадратов со сторонами в 30-50 человек. Он способен не только эффективно защитить от конницы, но и атаковать самим.

Боеспособность баталии является продолжением социальной жизни кантонов, эффектом «единства существования». Прежде всего эта жизнь характеризовалась относительными равенством и аскетизмом. По легенде жители кантонов обратились к герцогу Бургундскому, очередному феодальному господину, решившему вторгнуться в швейцарскую конфедерацию, со словами о том, что одна лошадиная упряжь его армии стоит больше, чем все имущество конфедератов, тем самым подчеркивая бессмысленность его усилий и затрат.

Соответственно швейцарец не имеет дорогого тяжелого вооружения, коня, ни вообще специального обмундирования (за исключением первых рядов баталий, которые могли иметь шлемы или металлические нагрудники). Но зато он – как и все остальные – имеет копьё или алебарду у себя дома и владеет ими так же, как и прочей домашней утварью. Зато он – как и все остальные – готов в любой момент дисциплинированно выступить на защиту конфедерации. Эти особенности жизни и социального устройства оборачиваются рядом военных преимуществ, которые трудно переоценить.

Во-первых, маневренность. Легковооруженная пехота способно совершать быстрые марши на любой местности и быстрые маневры на поле боя. Среди швейцарцев нет знатных всадников и слабо вооруженных, плохо мотивированных крепостных крестьян, как нет и различных специализаций (лучники, пушкари). Единообразие их снаряжения, вооружения, выучки делает их тактически – быстротой и слаженностью перестроений, и передвижений – превосходящими любую феодальную армию. Швейцарцы – мастера строя, способного на самые быстрые и сложные маневры. При том что, как пишет Дельбрюк, «о каких-либо совместных строевых занятиях мы ничего не слышим, безусловно, они не производились»<sup>16</sup>. Что опять же говорит о роли, которую жизненное повседневное «единство существования» – «чувство локтя» – играет в бою. Чувство локтя

---

<sup>16</sup> Там же, 3160.

приобретает в данном случае грозный буквальный смысл, который выводит к следующему пункту.

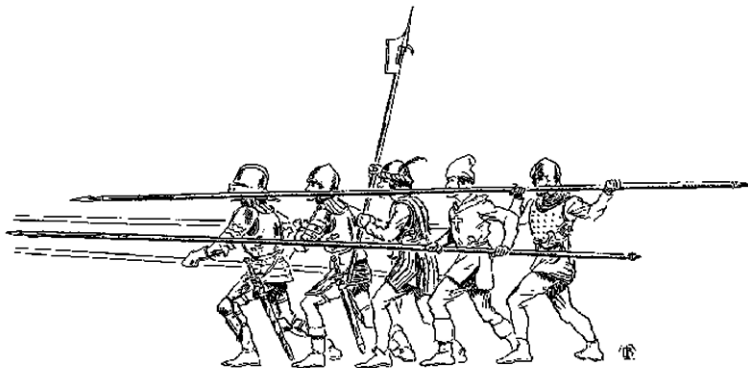
Вторым принципиальным преимуществом швейцарской пехоты является концентрация поражающей силы. Жизненно важным для ополченцев, практически не имевшим никакой индивидуальной защиты, была плотность строя: плотно сомкнутый ряд пикинеров ощетикивался сплошным частоколом копий, который и служил защитой для всех. Солдаты плотно жались друг к другу, буквально постоянно чувствуя локоть соседа. Ни одна пехота в Европе не имела такой сплоченности, тесноты строя<sup>17</sup>. Самым опасным для швейцарцев были вооруженные короткими мечами и небольшими щитами искусные воины противника, которые могли вклиниться в строй и в ближнем бою расстроить его. Для предотвращения этого между второй и третьей шеренгой пикинеров помещалась шеренга алебардистов, которые своим тяжелым топором на рукояти до 2 метров ликвидировали вклинившихся воинов противника.

В общем баталье пикинеров имела до 6 шеренг солдат, которые одновременно участвовали в схватке. Благодаря копьям разной длины – от 3 до 6 метров – и разной высоте работы с копьём (первая шеренга от бедер справа, вторая на уровне груди справа, третья – от бедер слева, четвертая на уровне груди справа) швейцарская пехота работала как единое целое. Задние шеренги находились в резерве и создавали напор для первых шеренг.

Напор и сила удара швейцарской пехоты были просто ошеломительными для противника. В отличие от растянутого фронта феодальных армий, гораздо менее плотного и однородного, швейцарцы наступали несколькими каре батальев. Основным тактическим принципом было максимально сократить время сближения – время под обстрелом луков и арбалетов, на который ополченцам было нечем ответить (психологически это создавало впечатление яростной одержимости поскорее вступить в бой). И всей массой батальи нанести противнику удар на небольшом участке фронта – удар такой силы, который просто опрокинул бы и смял его. Ибо

<sup>17</sup> Не являются ли характерные модернистские воинственные образы истины как «мобильного войска метафор и метонимий» (Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien) Ницше или смысла как «тесноты стихового ряда» (Тынянов), придающей семантическую силу отдельным словам – лишь ностальгическими послеобразами этих социальных реалий? Ответ скорее всего получим утвердительный. Продолжая свою мысль о том, что истина есть подвижный строй поэтических фигур, Ницше писал: короче говоря, истина это «совокупность человеческих отношений, которые были усилены, перенесены [в эстетическое измерение], поэтически и риторически украшены» (F. Nietzsche: *On Truth and Lie in an Extra-Moral Sense. Fragment, 1873: from the Nachlass*. Tr. Walter Kaufmann. Режим доступа: <https://jpcatholic.edu/NCUpdf/Nietzsche.pdf>. Дата доступа: 30.1.2017). В нашем контексте мы можем уточнить специфику этих человеческих отношений, предельная интенсивность кооперации которых как возвращение вытесненного в эпоху индивидуализма модерна направляло философское и эстетические воображение слов как людей.

благодаря плотности, глубине рядов и выбору наиболее уязвимого участка фронта вражеской армии достигалось пяти-шестикратное превосходство по количеству копий на ширину строя и многократное превосходство по динамической массе удара.



Илл. 1. Первые шеренги швейцарской пехоты

Благодаря форме квадрата баталья была прикрыта со всех сторон и могла сражаться в полном окружении, если фланги противника обходили с тыла. Хотя для предотвращения этого применялся еще один тактический прием. Батальи наступали как правило тремя эшелонами. И задние эшелоны всегда готовы были либо сманеврировать и усилить натиск на наиболее трудных участках боя, либо заблокировать фланговые удары неприятеля. Впрочем, эшелонированный боевой порядок служил еще одной задаче, не менее важной, чем собственно военные. Он позволял первым батальям организованно отступить на небольшую дистанцию в случае неудачного штурма, не оставляя своих павших или раненных на поле боя на поприще врагу. Взаимовыручка и долг перед боевыми товарищами рассматривались как ценности, не уступающие императиву победы любой ценой.

Благодаря построению в виде нескольких, координирующих свои действия, но автономных квадратов-батальи швейцарская пехота оптимальным образом сочетала взаимоисключающие в ином случае принципы плотности строя и высокой маневренности многих тысяч человек. И такая тактика являлась кристаллизацией социально-политической повседневной организации, при которой то, что на поле боя было «батальей» в мирной жизни было территориальной единицей, соседской общиной. Общиной, которая координировала свою жизнедеятельность с другими общинами без верховных бюрократических инстанций. Точно так же и на поле боя. Для жестко иерархических феодальных армий одним из самых поразительных свойств швейцарской пехоты были автономия и самоуправление ее подразделений. Не было ни верховного главнокомандования, ни профессиональных военачальников без знаний и опыта которых простые солдаты превращались в неуправляемую

массу. Даже стратегические решения у швейцарцев принимались путем демократического голосования глав территориальных ополчений. И в принципе даже опытный солдат мог выполнить функции выбывшего командира отряда, быстро сориентировавшись на поле боя благодаря простой и ясной всем тактике и тому же глубинному чувству единства существования, позволяющему поставить себя – в переносном смысле, но при необходимости и в прямом – на место практически любого в бою.

Наконец, третьим преимуществом была мобилизация. По сути все взрослое мужское население кантонов входило в систему гражданской обороны, которая плавно перетекала в вооруженные силы. Каждый мужчина содержал в боевой готовности у себя дома оружие. Каждый знал, к какой части приписан, к какому месту ему надлежит прибыть и в какое время. Вопросы оперативного управления решались быстро на месте. В результате дисциплины и самоорганизации в считанные часы отряды оказывались в состоянии полной боевой готовности. Тогда как на организацию анархистской стихии рыцарства, на сгон и вооружение подневольного крестьянства могли уйти многие недели. Более того, дисциплина и строевой порядок поддерживались у швейцарской пехоты даже на марше, а в боевой строй швейцарцы становились уже при выходе из лагеря перед боем. Противник же, как правило, пытался привести в боевой порядок свои растянувшиеся колонны уже на самом поле боя, что зачастую не удавалось из-за быстрого натиска швейцарцев. Застать их самих врасплох в силу высокой степени мобилизованности было практически невозможно.

### Древнегреческая фаланга

Чем прежде всего поражает эта картина военной демократии альпийских кантонов, так это почти полным совпадением с миром античного полиса. В этой картине труднее найти отличия, чем бросающиеся в каждой детали сходства. Здесь мы видим подлинное Возрождение античных традиций, причем не только стилистических черт, эстетического канона, но самого военно-политического ядра античности.

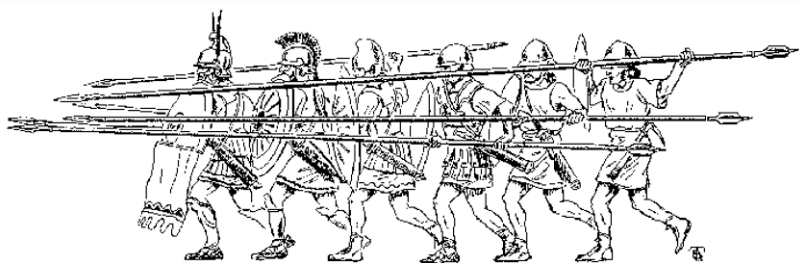
Чуть ли не буквальный прообраз битвы при Моргартене служит Марафонская битва 490 г. до н.э. Та же решительная пехотная атака многократно превосходящих сил противника со стрелками и конницей. Победа, которую тот же Дельбрюк считает моментом рождения западноевропейской цивилизации как таковой. В ней древние греки впервые триумфально осознали свое отличие, и свое превосходство над внешним, казавшимся таким могущественным миром «варваров». Превосходство, воплощенное в боевом строе – фаланге. Весь классический век афинской демократии пройдет под знаком различных войн – от затяжных персидских и пелопонесских войн, до множества внутренних междоусобных конфликтов городов-государств. И клю-



чевым фактором выживания полиса в этих условиях будет также умение пехоты держать боевой строй. В греческой фаланге как в магическом кристалле сошлись всеобщая гражданская мобилизация, маневренность, концентрация ударной мощи, прямая демократия, автономия городских общин, обожествление гражданских добродетелей. И даже в большей степени, чем швейцарская баталья, греческая фаланга служила зеркалом, в которой граждане могли увидеть отражение собственного функционального единства, получить живой опыт социальной тотальности, собственного позиционирования в обществе как системе.

Здесь представление о своем месте в обществе приобретало суровую эмпирическую значимость. Фаланга – модель всего общества, явленная наглядно. Во фронт фаланга строилась по территориально-родовому принципу, вглубь – по опытности, силе, храбрости. Каждый занимал свое уникальное место в фаланге в соответствии с клановой, территориальной принадлежностью, статусом, личными качествами. То, что в повседневности существовало в дисперсном виде, в фаланге обретало четкость, цельность и наглядность.

Твое место на пересечении ряда и шеренги выражало твой удельный социальный «вес». Условно говоря, по мере приближения к центру фаланги гражданские и боевые качества бойцов возрастали. По мере приближения к первой шеренге – возрастала опытность и сила. Позиция в пятисотом ряду (из тысячи) первой шеренги означала самый высокий «удельный вес» гражданина в общине. Позиция в пятом ряду слева, в восьмой шеренге – это совсем другой «удельный вес»: ты выполняешь роль поддержки для первых рядов и, в случае выпадения из строя впереди идущих, заменяешь их. И это приближение к смерти – необходимые ступени твоего восхождения по социальной лестнице. Война – это привилегия взрослого свободного мужчины. Она дает политическое право голоса. Открывает доступ к должностям. Только тот, кто жертвовал своей жизнью ради полиса, мог принимать участие в управлении государством.



Илл. 2. Первые шеренги древнегреческой фаланги

Структурной единицей фаланги был не отдельный воин, но специфическая связка как правило из 4–6 человек, расположенных друг за другом и образующих своеобразное функциональное целое, «молекулу» войска.

Согласованная работа стоящих позади друг друга воинов разных шеренг определяла эффективность боя. Соответственно щиты первого ряда были сомкнуты так плотно, что образовывали сплошной панцирь. При этом каждый воин прикрывал щитом правую сторону соседа слева, для того, чтобы тот мог использовать свой меч для ближнего боя. Разрыв в шеренге означал неминуемую гибель всей фаланги – тяжеловооруженные пехотинцы (гоплиты) оказывались малоэффективными вне строя. Таким образом этически и технически гражданин оказывался в ситуации, когда лично от него зависел успех общего дела. И его жизнь – зависела от всех.

Сохранение того эластичного, но неразрывного единства, в котором каждый чувствовал свою сцепленность со всеми другими было высшей ценностью. Это ощущение эластичного целого присутствовало и в опыте прямой демократии мирной жизни, но в гораздо менее отчетливом виде.

Способность держать свое место в общем строю – способность действенным образом соотносить себя с коллективным целым – условие победы. Способность подвести частный случай под общее правило – способность суждения, аристотелевский фроне́зис – условие справедливости, правосудия и политического законотворчества. Способность рассматривать единичное в свете универсального – условие истины, философии как ее поиска. Такова греческая версия «единства совместного существования», простирающегося от телесного опыта боевого чувства локтя до абстрактного уровня философских разговоров.

Нужно ли говорить, что соратники вообще и в особенности люди, образующие «молекулы» фаланги, и в мирное время поддерживали тесные дружеские отношения. Они образовывали те сообщества «политики дружбы», о котором писал Аристотель в восьмой книге «Никомаховой этики». Прежде всего, тот близкий круг друзей (*philoí*), оптимальным числом которых считалось «молекулярное» число в 5-7 человек. Ибо настоящего друга нужно было регулярно навещать, что при большем количестве друзей сделало бы затруднительным ведение дел. Дружба, иными словами, была повседневным практическим искусством.

Развернутое описание одной из ключевых практик этого искусства – дружеских застолий – мы находим в более поздних «Застольных беседах» Плутарха. Плутарх живо и со множеством деталей описывает, как во время застолий культивируется философическая атмосфера дружеского разговора. Разговора на предельно отвлеченные темы, которые были бы равно интересны для людей разных возрастов и занятий. И этот совместный поиск истины увенчивался не ее обнаружением. Друзья могли так и не прийти к общему мнению по поводу того, не лучше ли ставить в фаланге рядом не «брата с братом» (фратрию с фратрией), «а влюбленного рядом с возлюбленным...», чтобы весь строй был связан единым

воодушевлением»<sup>18</sup> или причины сладости поедаемого огурца<sup>19</sup>. Смыслом совместного поиска истины был его, так сказать, побочный эффект – поддержание и углубление самой взаимной благожелательности, искусства слышать друг друга.

Что и есть, по Аристотелю формула дружбы: дружба – это когда желают друг для друга блага, не ради собственной пользы или удовольствия, но когда друзья «желают собственно блага тем, к кому питают дружбу, ради самих этих людей». Ибо «дружность (philotes) – это уравниность» (isotes)<sup>20</sup>. Друг естественным образом относится к другу как к самому себе и желает ему блага, как желал бы самому себе. И это не абстрактные отношения равенства граждан перед законом, а конкретное, протополитическое равенство, устанавливаемое внутри личных отношений, внутри общей речевой культуры. «Наслаждение общением, кажется, главный признак дружбы, – пишет Аристотель, – Многие дружбы расторгла нехватка беседы»<sup>21</sup>.

Причем искусство слышать друг друга в ходе таких бесед заключается не только в схватывании логики и аргументации собеседника, но и более тонких настройках взаимопонимания. Слышать активно – улавливать интонацию, подхватывать ее, видеть общий риторический рисунок обсуждения и вовремя вплетать в него свои нити, в общем вести свою «партию» в общем хоре беседы. И роль симпозиарха стола («тамады») Плутарх уподобляет «руководителю хора», который, подливая разгоряченному спорщику больше воды в вино, а молчаливому гостю – меньше разбавляя вино водой, поддерживая порядок, в котором собеседники берут слово (ибо слово наполняет вино благородной силой), следит за тем, чтобы все слушали друг друга по отдельности и слышали, одновременно, общую мелодику разговора. Эта протополитическая философская стихия служит почвой как для собственно политических практик демократии, основанных на публичной риторике, так и для войны, для фаланги, которую «цементируют» прежде всего такие тонкие «настройки» друг на друга.

## Война и демократия

В демократическом государстве нельзя бесконечно соревноваться в наращивании армии. Участвовать в сражениях – это привилегия свободных граждан. Предел количеству граждан кладут процедуры прямой демократии, народного собрания, где всеми мог

<sup>18</sup> Плутарх: *Застольные беседы*, Ленинград: Наука 1990, 13.

<sup>19</sup> Исследование этого, находит простое, но обескураживающее всех объяснение – оказывается причиной сладкого вкуса огурца была служанка (а не боги или особая почва), которая положила его в сосуд от меда. Но это не останавливает дальнейшего обсуждения проблемы, ибо «если оно не принесет какой-либо другой пользы, то во всяком случае послужит нам полезным упражнением» (Там же, 24–25).

<sup>20</sup> Аристотель: *Сочинения*: В 4-х т. Т. 4. М.: Мысль 1983, 227.

<sup>21</sup> Там же, 226–227.

быть услышан голос любого (будь то на древнегреческой агоре или общинном лугу позднесредневекового Швица). Бесконечно можно совершенствовать личные качества, равно полезные в повседневной жизни и на войне. И делать это не в режиме бесконечной механической муштры. Но культивируя общность жизненного мира, единство совместного существования, которое раз за разом совершает свое обыкновенное чудо: из шума народного собрания «внезапно» рождается справедливое судебное решение или закон; из напряжении боя – мгновенное и решительное взаимопонимание без слов перед лицом смерти.

Деньги оказываются тем, что по мере накопления, рано или поздно смывают демократические «плотины» на пути бесконечной милитаризации общества. По мере увеличения богатства Афин военная служба начинает профессионализироваться, систематически задействуются наемники. Прежде всего во флоте, который почти весь становится профессиональным и моряки начинают получать денежное вознаграждение за службу. Двадцатью веками позже флот снова окажется на острие союза капитала и войны. Если в сухопутной войне еще долго сохранялись демократические и аристократические элементы – территориальность, первенство гражданских добродетелей, презрение к денежной расчетливости и т. п. То «в морских делах доблесть находилась в подчинении у финансов, поскольку до выхода в море корабль необходимо было оснастить сложным набором снаряжения и продовольствия – задача, невыполнимая без соответствующих денег. ...На суше никто и не проводил тщательный подсчет затрат и возможных доходов от военного предприятия — тогда как при снаряжении морских экспедиций инвесторы пытались учесть все до последних мелочей»<sup>22</sup>.

Падение античного мира прерывает процесс формирования регулярных профессиональных армий. Но он возрождается с новой силой в 16-17 веках, когда первые капиталистические анклавы генерируют такую свободную денежную массу, которая, во-первых, размывает их демократические институты. В основных очагах раннего капитализма через механизм кредитования военных расходов и госдолга государство практически приватизируется финансовой олигархией. Так, в 15 веке во Флоренции политическая власть переходит к торговому дому Медичи, а в Генуе бюджет республики оказывается в управлении частного банка «Каса ди Сан-Джорджо».

Во-вторых, кредиты и налоги, идущие на войну, расщепляют войну и мир на несвязанные, противопоставленные друг другу сферы. И одни становятся все более дистанцированными «зрителями» театра военных действий, другие – превращаются в военный пролетариат. Одни остаются в пределах однородного экономического мира (повседневности), другие – привязываются к войне, которая оказывается всего лишь другой «повседневностью», тягелым и неблагодарным наемным трудом. В этот разлом провали-

<sup>22</sup> Мак-Нил, указ.соч., 127–128.

вается вся метафизика городской общины (взаимосвязь измерений войны и мира) и сопутствующий культ городской солидарности. Капитализм стирает свой собственный исток.

Завоевав независимость для своего народа и обеспечив самую демократическую форму правления, швейцарская пехота вскоре превращается в товар – профессиональных наемников, пользующихся спросом по всей Европе для распространения имперского влияния нарождающихся национальных государств. Дух капитализма обретает свое «тело»: капитал находит первую историческую форму своего исключительного товара – рабочей силы – военный пролетариат.

По образцу швейцарской батальи формируются «банды» немецких ландскнехтов, испанские «терции». Потом из этих разношерстных наемных отрядов формируются первые регулярные профессиональные европейские армии. Армии и войны становятся ключевой точкой обмена кредитных денег на будущие доходы государства, разгоняющего маховик оборота капитала. Главной статьёй экспорта становится сама война: «Эффективное налогообложение и обслуживание кредитов совместно с профессиональным военным управлением поддерживали мир дома и экспортировали неопределенность рисков в область внешней политики, дипломатии и войны»<sup>23</sup>.

Военная этика наемника лишается политического фундамента прямой демократии. Война становится не подвигом, обеспечивающим главную ценность демократии – гражданскую славу – но тяжелым и опасным трудом, единственной наградой за который становятся деньги<sup>24</sup>. Наемная пехота становится образцом меркантильности. За малейшие задержки денежного довольствия те же швейцарцы могли приостановить службу в самый неподходящий момент. Либо вообще убить командиров и перейти на сторону противника, если тот находил решающий «последний экю»<sup>25</sup>. Что могло волновать наемника, если он не мог рассчитывать не то, чтобы на почет в родном городе, но и на элементарную социальную защищенность? Солдаты, потерявшие на войне трудоспособность и здоровье, были предоставлены самим себе. Ранеными даже на поле боя зачастую никто не интересовался, не говоря об организации лечения. Единственной гарантией выживания в этом случае служили деньги. И их добыча становилась не только профес-

<sup>23</sup> Там же, 100–101.

<sup>24</sup> См.: В.Р. Новоселов: Обычаи войны XVI в. и мотивация поведения наемных солдат // *Военно-историческая антропология*, М. 2002. Режим доступа: <http://annales.info/evrope/small/novoselov.htm>. Дата доступа 28.1.2017).

<sup>25</sup> Французский маршал Таванн так высказывался по этому поводу: «В этой войне, – писал Таванн, – побеждает тот, у кого есть последний кусок хлеба и последний экю или тот, кто сумеет притвориться таким» (цит. по: Новоселов, указ.соч., 122). То есть тот, кто может создать видимость платежеспособности – и тогда видимость может стать самой настоящей реальностью военных побед.

сиональным делом, но и страстью, достигавшей патологической интенсивности<sup>26</sup>. Меняется и отношение наемника к пленным и гражданскому населению. Все более частым эксцессом становится слепая и жестокая месть за ранения (потерю «трудоспособности») или сам факт сопротивления<sup>27</sup>. Элементы прежней этики гражданского ополчения остаются действенными внутри «баталий» и «банд». В начале распространения наемничества различные национальные подразделения «по-спортивному» соперничали за честь своей нации на поле боя. Каждый воин внутри отряда пытался продемонстрировать самопожертвование, храбрость и силу, ибо это повышало его репутацию в глазах товарищей и репутацию всего отряда (которая, в свою очередь, служила фактором повышения цены за его услуги).

Но постепенно эта этика наемных солдат, равно как и их эффективность, вытеснялась регулярными армиями с их уставами. В финальной сцене фильма Августина Диаса Янеса «Капитан Алатристе» (2006) остатки последней трети отчаянно сражаются против окруживших и по сути добивающих их французских войск. Забыты личные выгоды и политические мотивы государства, на кону лишь – репутация испанской пехоты как таковой. Эта внутригрупповая сплоченность, изъятая, с одной стороны, из какого-либо политического контекста, слепком и высшим выражением которого она являлась, а, с другой, отторгающая, в конечном счете, сам принцип личной выгоды, обусловит трагическую живучесть наемной пехоты швейцарского образца, призраком блуждавшей на полях сражений и после своей исторической «смерти».

### Война и реклама

Итак, глубинная модификация войны – устранение демократических преград на пути замыкания круга капитала и войны, вытеснение городской общины как субъекта истории пролетариатом – приводит, в конечном счете, к появлению современной, «информационной» войны.

Что такое информационная «картинка»? Это не просто визуальная фальшивка, за которой может скрываться все что угодно и которой можно как угодно манипулировать. По известному тезису Ги Дебора позднекапиталистический «спектакль» и есть вопло-

<sup>26</sup> Один из многочисленных примеров: «После взятия в 1552 г. Глажона, солдаты Пикардийской банды деловито вскрывали и пленным, и убитым солдатам противника животы, но делали они это не из садистских побуждений, а исключительно с целью достать деньги и украшения, которые могли быть теми проглочены» (Там же, 117).

<sup>27</sup> «В 1554 г., когда Монлюк, оборонявший Сиену, выпустил из города несколько тысяч стариков, женщин и детей. Испанцы устроили им резню, сопровождавшуюся изнасилованиями и актами садизма, особенно в отношении детей, соревнуясь в фантазии способов пыток и убийств» (Там же, 121).

щение реальных социальных отношений, демонстративно утверждающих свою логику.

Войны новой информационной эпохи носят характер «операций» («Operation Desert Storm» в Кувейте 1991, «Operation Allied Force» в Югославии в 1999 и т.п.). Война становится не фронтальной (сплошным соприкосновением двух линий огня), но точечной: высокоточное оружие поражает отдельные цели, не задевая окружающих объектов (в которых могут быть заложники, мирные жители). Главная задача современной войны не столько уничтожить врага, но «вытеснить» его, окружить и предоставить «коридоры», изгнать в то inferнальное пространство, откуда он возник. Как при своеобразной химиотерапии – купировать раковые клетки и отделить их от здоровой ткани.

Не тот ли самый принцип описал Ролан Барт, когда после Первого всемирного конгресса по моющим средствам в 1954 году масированная реклама превратила эти не средства не только в краеугольный камень послевоенного быта, но открыла новые формы вообразяемого?

Традиционный образ очищения как тотального «грубого перемалывания, абразивного истирания вещества» в новой рекламе замещается совершенно иным образом: «Стиральные порошки обладают действием разделительным: в идеале их роль – очистить вещь от всего случайного и несовершенного, грязь здесь не “убивают”, а изгоняют. На картинках порошка «Омо» грязь изображается в виде тщедушного черненького человечка, который при одной лишь угрозе сурового суда «Омо» со всех ног удирает от белоснежно-чистого белья»<sup>28</sup>.

Барт указывает на суть данной трансформации вообразяемого – доминировавшая военная функция власти замещается полицейской: «Хлористые и аммиачные моющие средства являются воплощением всепожирающего огня, спасительного, но слепого; стиральные же порошки действуют избирательно, они выталкивают, выводят грязь из тканой основы отмываемой вещи, их функция – не военная, а полицейская»<sup>29</sup>.

Отсюда – два важных следствия. Послевоенная реклама выходит из детского возраста, когда рекламный образ отсылал к конкретному продукту или, в более сложном случае, формировал эмоциональную близость, лояльность бренду, производившему продукт. Современный рекламный образ, в конечном счете, отсылает к тотальности власти, к тем способам в которых она утверждает свое присутствие.

«Черные человечки» (затем замененные на более политкорректных цветных неантропоморфных «микробов») внедрены в здоровое тело на всем его протяжении. Они более не составляют местных дикарей (типа индейцев) или неприятельской регулярной армии, которые нужно «абразивно» стереть с определенной терри-

<sup>28</sup> Р. Барт: *Мифологии*, М.: Издательство имени Сабашниковых 1996, 83.

<sup>29</sup> Там же.

тории и заселить ее своими, правильными, «белыми человечками». Отныне в глобальном масштабе социальная ткань – изначально чистая, идеальная, геометрическая структура. Этот образ триумфально утверждается в самых разнообразных рекламных образах – текстильные ткани и ткани организма, сантехническая посуда и посуда кухонная, волосы и зубы и т.п. Все, что нас окружает, носит характер именно такой структуры. И именно в нее время от времени, то там, то сям проникают безличные агенты разрушения – грязь, бактерии, накипь и пр.

Идеологически декодируя этот образ можно сказать, что глобализация, еще до того как стать доминирующей тенденцией в политэкономическом плане на уровне воображаемого послевоенной эпохи уже утвердилась в качестве представления о том, что социум – это гомогенная структура, геометрическая сеть которой имеет одинаковые свойства во всех направлениях. Эта сеть – элементарное представление об идеальном рыночном пространстве. Еще существуют огромные регионы вне этой сети – социалистические страны, страны третьего мира, за которые идет борьба систем. В них ткань «свободного рынка» подвергается разнообразным деформациям, разрывам – на пути свободного движения товаров и услуг, на пути денежных потоков, в конечном счете, возникает множество препятствий. Но «идеал» уже ясно просматривается – глобальная сеть, гомогенная и со множеством узловых точек – то есть сверхпроводимая для денежных потоков во всех направлениях. И становится видимым он именно в плоскости эстетической – рекламы как важнейшего из всех искусств позднего капитализма.

С начала эпохи «мыльных опер» реклама становится самой собой. Ее социальная функция выходит далеко за узкоэкономические рамки «двигателя торговли» – продвижения чего-то такого, что уже создано в процессе производства, по отношению к которому она выполняет вспомогательную задачу ускорения производственных циклов. Ее эстетическая сторона перестает быть популяризирующим заимствованием и смешением техник высокого искусства. Реклама производит важнейший вид продукции – назовем его здесь для краткости постмодернистской внешностью – превращая традиционное производство в сферу собственного обслуживания. Реклама становится эстетической матрицей, перестраивающей под себя все поле искусств: «актуальное» искусство и поп-музыка, телесериал и блокбастер, сетевое вирусное видео – все это отмечено характерной печатью рекламного формата не просто на уровне внешнего подобия (кричащих красок, упрощенно-идеализированных фигур, примитивных сюжетов и композиций и т. п.), но на глубинном структурном уровне (разрушения повествовательности, навязчивых повторений, быстрой смены фрагментов и т.п.).

В этом смысле реклама непосредственно встраивается в производство в качестве его ключевого элемента и одновременно выступает воображаемым зеркалом для той новой социальной тотальности (глобального общества), которая еще не возникла,



не оформилась как целое по эту сторону «зеркала», в текущей повседневности. Реклама предлагает нам на самом примитивном, бытовом уровне идеологический образ политико-экономического будущего, которое оказывается пророческим именно в силу неузнанности (как? разве это не всего лишь образы личного, домашнего порядка?).

Но дело не только в том, что реклама содержит в себе визуальный идеологический код глобализма, рекламируя в конечном счете именно его. В конце концов, чем плохо то, что одни и те же законы и правила игры действуют по всему миру? Что товары и услуги беспрепятственно циркулируют в планетарном масштабе? Что их основа, денежные транзакции, совершаются почти мгновенно и любые денежные массы перемещаются в любую точку мира, свободно проходя сквозь границы наций и культур? И если существует еще остаточное сопротивление со стороны традиционных культур, национальных государств или местных властей, пытающихся замедлить самодостаточное ускорение оборота мирового капитала или взять его под свой контроль, то и не лучше ли, чтобы все эти беларуси, кубы, венесуэлы, не говоря уже о северных корейях и игилах, образующие незначительные «прорехи» в ткани глобализма, были «заштопаны», «демократизированы» на пути к вечному и единому миру?

Лучшим ответом на очевидные вопросы могут оказаться встречные вопросы. Почему развитые страны по мере продвижения к этому самому вечному и единому глобальному миру тратят на вооружение все более астрономические суммы? Позади эпоха мировых войн, холодной войны сверхдержав. Разве основная угроза терроризма требует для симметричного ответа ядерных ракет, стратегических бомбардировщиков, рельсотронов и пр. Почему расходы на милитаризацию растут за счет расходов на образование и культуру? Аппетиты военно-промышленного комплекса? Коррупцированная политика правых партий, конвертирующая на военных закупках политическое влияние в деньги по самому выгодному курсу?

Критическая историзация феномена европейской войны позволяет обозначить более глубинные причины. Мы видели, что гонка вооружений – это важнейшее условие воспроизводства капитала как такового. Современная высокопрофессиональная, высокотехнологичная война все больше требует фигуры технического оператора.

Антиутопическим воплощением такой фигуры может служить главный герой пелевинского романа «S.N.U.F.F.» Дамилола Карпов. Дамилола – по сути геймер на диване, замкнувшийся в сексуальных перверсиях самоизоляции перед экраном. Ему все равно, кого и зачем убивать – какие фигурки, попавшие в прицел орудия, совмещенного с видеокамерой, уничтожить на экране нажатием кнопки. Главное, чтобы стриминг его «шутера» по живым мишеням, в первых, непосредственно служил в качестве новостных картинок,

а во-вторых – прямо конвертировался в дигитальные деньги на счету, которые могут также непосредственно конвертироваться в сексуальное удовольствие (трехмерное интерактивное порно). Фундаментальное политическое измерение войны – измерение единства совместного существования – в этом случае полностью ампутируется. Деньги замыкают войну на приватный опыт – в пределе перверсивно-нарциссический.

Именно это отсутствие политического и являет себя наглядно в самом формате репрезентации войны. Медиа-картинка – это утверждение позиции нарциссического вуайеризма в качестве естественного опыта войны. В идеале – даже для ее участников. Соответственно для такой войны не нужен весь тот культурный аппарат – философско-филологический культ гражданских добродетелей – который изначально был интегрирован в демократические институты. Он становится скорее досадной помехой. Все что нужно – это распространить влечение к деньгам, возникшее на бессознательном макроуровне «системных циклов накопления», до уровня индивидуального желания.

Что такое современные медиа? Все больше они становятся одной сплошной рекламой денег. Чем отличаются новые медиа от «старых»? Тем, что в них реклама стала вездесущей и на порядок более навязчивой. «Картинка» новых медиа – это периферийные банеры-тизеры, всплывающие окна, рекламные вставки в видео, необходимую порцию которых ты не можешь не смотреть, контекстная реклама, «незаметно» вставляемая в любой контент. Скорее контент служит изменчивой рамкой одного и того же рекламного послания (и когда мы с ужасом читаем о новых жертвах войны и видим картинки разрушений, то неизбывная реклама, сопровождающая это, тихо, но внятно говорит: все это не так серьезно, не так реально, как может показаться – реальность твоего ego остается главной и единственной настоящей реальностью!).

Суть этого послания заключается в том, что настоящий объект желания – это деньги. На этих экранах мы впервые сталкиваемся с прямой, жесткой рекламой денег, которой не было как класса даже на старом добром телевидении. Кучи, штабеля, дожди и водовороты денег с сопровождающими текстами о том, как быстро и без труда их заработать. От почтовых спонсоров и форекса до казино и лотерей. Эта работа без труда (трудности, времени, других) соответствует объектам постмодернистского желания – кофе без кофеина, сладостям без сахара или безалкогольному спиртному, о которых говорит Жижек, связывая с этим глубокое погружение масс в «потребительскую аполитичную установку»<sup>30</sup>. Если этика городской общины базировалась на фундаментальном принципе меры – во всем, от размеров общины в своей бесконечности. Пей сколько угодно пива – оно безалкогольное. Потребляй без ограничений кофе или

<sup>30</sup> С. Жижек: *Добро пожаловать в пустыню Реального*, М.: Фонд «Прагматика культуры» 2002, 15.

кока-колу – они лишены своих опасных субстанций кофеина или сахара. Но тогда и работать (без труда) нужно бесконечно. Не отрываясь от экрана, терять ощущение различия досуга и работы, прихлебывая кофе или кока-колу. Тогда потребительский выбор оказывается самой распространенной работой. Работой не трудной в традиционном смысле слова, но изматывающей, заключающейся в постоянном поиске оптимального соотношения цены и качества товаров и услуг. Иными словами, в выборе наиболее эффективных инвестиций в себя самого, в свою идеальную, успешную внешность.

Но ведь реклама денег, несмотря на всю ее агрессивную новизну – всего лишь небольшой сегмент рекламного поля новых медиа. Но не является ли львиная доля этого поля – скрытой рекламой денег? Ибо по большей части реклама связана как раз с продвижением различных техник усиления эго – достижения успеха, обретения идеальной внешности как строительного материала эго (от гладкости кожи и модной, идеально выглаженной одежды до лакированных форм последней модели авто и дизайнерского, цельного интерьера жилища). Техник, позволяющих без труда «прямо сейчас», нажатием кнопки, намазыванием крема или принятием таблетки – стать более цельным и счастливым (похудеть, помолодеть, привлечь к себе внимание противоположного пола и пр.). Естественно волшебным средством, устраняющим труд и время на пути к цели, являются деньги. Деньги – это энергия, приводящая всю эту машинерию успеха в движение.

В этом контексте становится более понятной формула информационной войны Бодрийара: «Медиа привлекают внимание к войне, война привлекает внимание к медиа, а реклама конкурирует с войной. Реклама – самый живучий паразит всей нашей культуры. Она, без сомнения, пережила бы даже ядерную войну. Это наш Страшный суд»<sup>31</sup>. Только реклама – не паразит, который присасывается к реальным событиям. Она и есть реальность нового завета Капитала с индивидом.

В условиях, когда медиа – это реклама денег, война превращается в «рекламу» медиа, становится самым сильным «информационным поводом» удерживать у экранов. Воспроизвести вуайеристически-нарциссическую позицию как опорную точку для разворачивания реальности. Конечный эффект информационной войны – удерживать у экранов деполитизированных одиночек. Капитализируя, наподобие извлечения энергии из человеческих тел для цифровой Машины в «Матрице» сестер Вачовски, возникающие в этом состоянии фантазмы изолированных индивидов.

### Возвращение войны

Если «внешняя» война становится рекламной спецоперацией, то в мегаполисах Запада, прежде всего США, война возвращается

<sup>31</sup> Ж. Бодрийар: *Дух терроризма. Войны в заливе не было*, М.: РИПОЛ классик 2016, 24.

в город. В третьем сезоне сериала «Прослушка» (НВО, 2002-2008) Банни Колвин, майор полиции Западного округа Балтимора, произносит свою знаменитую фразу: «Военная и полицейская служба – это не одно и то же» («Soldiering and policing, they ain't the same thing»). Этим он резюмирует проблему отношения к службе у молодого поколения полицейских: они пытаются навести порядок в своих районах как на оккупированной территории – облавы, аресты, физическое насилие. Вместо совместного с населением поддержания правопорядка в городском районе (neighbourhood). Что предполагает наличие информантов, агентуры, свидетелей и вообще общего содействия населения, которое рассматривает преступника как общего врага. При современном же положении вещей в качестве потенциального врага полиции рассматривается практически любой житель в постоянно растущих неблагополучных городских округах. Полиция же, соответственно предстает оккупационной армией для граждан таких районов. В результате мы имеем дело со все более дискутируемым феноменом милитаризации полиции.

Так, например, с начала века полицейские подразделения США оснащаются все большим количеством армейского вооружения – штурмовым автоматическим оружием, гранатометами (для дымовых и газовых зарядов), бронированными машинами, приборами ночного видения, вертолетами и т.п.<sup>32</sup> Военный камуфляж, бронежилеты, противогазы, каски, маски – все это превращает полицейских в анонимных чужаков, которым нет дела до местного населения.

На ставшей эмблемой волнений 2014 года в американском Фергюсоне фотографии, которая была использована CNN в ходе освещения событий, схвачена эта новая атмосфера.



Илл. 3. Полиция во время волнений 2014 года в американском г. Фергюсон.

<sup>32</sup> J. Bosman, M. Apuzzo: In Wake of Clashes, Calls to Demilitarize Police, in: *New York Times*. 14.08.2014. Режим доступа: <https://www.nytimes.com/2014/08/15/us/ferguson-missouri-in-wake-of-clashes-calls-to-demilitarize-police.html>. Дата доступа: 28.1.2017.

Атмосфера, отраженная, если не сказать героизированная, в ряде телевизионных шоу типа «Dallas SWAT» (2006-2007)<sup>33</sup>.



Илл. 4. Постер «Dallas SWAT».

В своем блоге для «Вашингтон Пост» Алисса Розенберг сравнивает героя «Анди Гриффит Шоу», транслировавшегося SBS в 1960-х, шерифа Мэйберри и современных милитаризированных полицейских. Выявляемое автором принципиальное отличие заключается в том, что в телевизионном шоу 1960-х «полицейский был частью того сообщества (community), в котором он нес службу, и разделял интересы своих сограждан-соседей»<sup>34</sup>. Советским аналогом подобной репрезентации сил правопорядка можно считать телевизионные фильмы о сельском участковом милиционере Анискине (1968-1978). Анискин расследует свои дела методом неспешных «общефилософских» разговоров и как тонкий психолог распутывает сложные жизненные узлы в отношениях односельчан, с которыми прожил всю жизнь, попутно раскрывая кражу аккордеона или экспоната из сельского музея.

Сериал «Прослушка» демонстрирует, что дело не в том, что поколение прежних сердобольных шерифов и участковых сменилось новым поколением полицейских, любящих бряцать оружием. А в

<sup>33</sup> Ch. Lockett: *The Wire and Police Militarization* (20.08.2014). режим доступа: <https://cjlockett.com/2014/08/20/the-wire-and-police-militarization/>. Дата доступа: 28.1.2017.

<sup>34</sup> A. Rosenberg: *From Mayberry to Ferguson, the rise of the modern cop* (14.08.2014). Режим доступа: [https://www.washingtonpost.com/news/act-four/wp/2014/08/14/from-mayberry-to-ferguson-the-rise-of-the-modern-cop/?utm\\_term=.b21e156f8fb0](https://www.washingtonpost.com/news/act-four/wp/2014/08/14/from-mayberry-to-ferguson-the-rise-of-the-modern-cop/?utm_term=.b21e156f8fb0). Дата доступа: 28.1.2017.

той мере распада культуры соседства (neighbourhood), городской общины, которая порождает агрессивные формы реакции со стороны фрустрированных властей. Полиция перестает быть полицией в изначальном смысле слова вооруженной полицией самообороны. Полиция в сериале ведет войну против наркоторговли, пыльным цветом расцветающей на руинах соседского сообщества. Но что она может сделать против самого спроса на наркотики? Против желания обычных горожан сбежать из отчужденной действительности хотя бы на время. И против живучести криминальных группировок, которая обусловлена тем, что они заполняют опустевшую нишу городских сообществ, дезинтегрированных и распавшихся на атомизированную массу индивидуальных потребителей. Социальный субстрат криминальных групп – злая карикатура на ранние городские сообщества. Например, крупнейшие российские банды 1990-х (солнцевские, ореховские, медведковские и пр.) формировались из друзей с детства, соседей по двору, приятелей из спортивных клубов. Они фактически брали под контроль территории проживания. Так же как в Западном округе Балтимора из «Пролушки», где улицы контролируются группировками местной афроамериканской молодежи. Или как в Моленбеке, мусульманском районе Брюсселя, в котором полиция четыре месяца не могла выследить подозреваемого в терактах в Париже в 2015 году. Все это происходит в той пустоте, которая возникает на месте вооруженной городской общины классической Европы<sup>35</sup>.

\*\*\*

Итак, современные трансформации войны могут быть лучше поняты в исторической перспективе и в связи с более широким политико-экономическом контекстом. Распад изначальных демократических институтов и «восхождение денег» (Нил Фергюсон) порождают гонку вооружений. Последняя на политическом уровне поддерживает главный устой капитализма – устойчивый спрос на деньги<sup>36</sup>. Деньги становятся непосредственной военной силой – стратегическим резервом, который может быстро обрести любую

<sup>35</sup> Главные положительные персонажи полицейских в сериале «Пролушка» своими сюжетными траекториями артикулируют один и тот же месседж, который вслух произносит тот же майор Колвин – «Это не дело полиции. Это не наша война». «Война» как пролушка, как спецоперация, видимым результатом которой, в конечном итоге, выступает лишь бюрократическая ротация на уровне высшего руководства.

<sup>36</sup> В логике гонки вооружений денег всегда нужно больше, чем есть в наличии. Не выступает ли современное желание потребительских кредитов (чуть большего количества денег, чем есть в каждый конкретный момент), лишь дальним эхом этого векового милитаристского влечения к деньгам? Доместифицированной, миниатюризированной, но тотальной «гонкой вооружений» в стремлении как минимум не отставать от соседа – *keeping up with the Joneses* – в «вооруженности» современной техникой, аппаратурой, модной одеждой и т.п.

материализацию и быть переброшен в любую необходимую точку. Война, обеспечивая максимальную рентабельность для инвестиций (колониализм, монополии), начинает служить необходимой фазой оборота инвестиций. Круга, в котором капитал и война взаимопорождают друг друга.

Трансляция новой ценности денег, возникшей на политэкономическом уровне макроциклов накопления капитала, на уровень индивидуального желания осуществляется аппаратом рекламы. Встраивание этого аппарата в круг капитала и войны и порождает феномен войны информационной.

Крупнейшие анклавы производства капитала с самого начала выступают источником глобального экспорта войны. Вместе с ним демонтируются и политические структуры прямой вооруженной демократии городских общин. Разлагается демократическая текстура общества, делавшая возможными такие феномены, как древнегреческая фаланга или швейцарская пехота, и, в свою очередь, получавшая от них мощный импульс воспроизводства. Со временем война возвращается изнутри западных городов, милитаризируя отношения власти и населения. Сама власть обретает деполитизированный характер перманентной спецоперации против врага, относительно которого уже нельзя сказать – внешний он или внутренний.